

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Из фронтовой жизни

Игоря ШОЛХОВА

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Р32893

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛАНЬ»
1911

НА СИНЕМ, ослепительно синем небе — полыхающее огнём июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге — широкие следы танковых гусениц, чётко отпечатанные в серой пыли и перечёркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полегли травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубос и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что изда- лека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шёл в первых рядах. На гребне вы- соты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Иль-мень. Сто семнадцать бойцов и командиров — остатки жестоко потрёпанного в последних боях полка — шли сомкнутой колонной, устало пере- ставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихра-

мывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завёрнутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.

Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскалившую каску, чтобы товарищи не увидели его слёз... «Развинтился я, совсем раскис... А всё это жара и усталость делают», — думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.

Теперь он шёл не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как

в навязчивом сне, вставляли разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и чёрные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона... А потом — бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемёт, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулемётчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усыянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окрапленными кровью...

Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковых атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли...» — с горечью думал Николай, вспоминая.

На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель, убитого пулемётчика... Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе нехватило рабочих рук; что во многих колхозах зот так же стоит сейчас ни разу не проподотый с весны, заросший сорняками подсол-

нух; и что пулемётчик был, как видно, настоящий парень, иначе почему же солдатская смерть смиловивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что всё это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулемётчиком — это просто дело случая; тряхнуло взрывной волной — и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулемётчик в бе́лесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами...

Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чём сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекавших ногах.

Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но всё же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.

На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смёл и унёс пыль. Неожиданно гулко зазвучали по оголённой почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор — с полсотни белых казачьих хат, окружённых садами, — и широкий плёс запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.

Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:

— Должен бы привал тут быть.

— Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.

Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:

— Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата...

Миновав, неподвижно распростёршую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно кудахтали курица, за палисадниками сонно склоняли головки ярко красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахло на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж в эфирном воздухе.

На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метёлки травы, покрывая зелёной пылью сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.

Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, вплитирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы сапёрной части, доверху нагруженные трётонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, неподалёку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к перевалу орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледнозелеными недоспелыми антоновками.

Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:

— А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе ещё хрена надо?

Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солонова-

тую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:

— Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтёшь немного, оторвёшься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.

Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:

— Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь ещё пить?

Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:

— Тебе всё больше сынок письма шлёт, а от жены писем что-то, я не примечал у тебя. Ты не вдовой?

И неожиданно для самого себя Николай ответил:

— Нет у меня жёны. Разошлись.

— Давно?

— В прошлом году.

— Вот как, — сожалеюще протянул Звягинцев. — А дсти с кем же? У тебя их никак двое?

— Двос. Они с моей матерью живут.

— Ты бросил жену, Микола?

— Нет, она меня... Понимаешь. в первый день войны приезжаю домой из командировки, а её нет, ушла. Оставила записку и ушла...

Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и всё так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того, ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого слышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?

Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:

— Что же она, стерва, другого сыскала?

— Не знаю, — сухо ответил Николай.

— Значит нашла! — убеждённо сказал Звягинцев и сокрушённо покачал головой. — Ведь вот какой народ эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей чорта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?

Взглянув внимательнее на затенённое каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал,

вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:

— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное — дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас — главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное женщины, я, брат, их знаю! Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика: если зарядит что — не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.

Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцевала. Смотрю я на неё, люблюсь, и никакой у меня насчёт её ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело, что же мне на вечере

зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и шипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, чорт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у неё, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху — в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы — кровь, как при серьёзном ранении.

Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеётся и орёт дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел! Встаю и пускаю её, жену то-есть, по матушке. «Что же ты, говорю, зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пьяль глаза на неё, рыжий чорт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы»: «Так-то, говорю, вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны та-

релками при людях кидаться, имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам».

Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, всё как полагается, пошли домой. Она идёт впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила — и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у неё красная, как свекла, и левый глаз сделает щёлкой, нет-нет да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил её водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя она опять — в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро всды на неё вылил, она и отошла, крик подняла, в слёзы пустилась, ногами брыкает.

«Ты, — говорит, — такой-сякой, новую шёлковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» — и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит оживела, значит перезимуешь, милая!

Присел к столу, курю, гляжу — любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и гово-

рит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, — говорю, — там тебе лучше будет». «Ах, вот как! — говорит. — Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»

Оживленными воспоминаниями, Звягинцев достал кiset и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепёку. Закурив, Звягинцев продолжал:

— Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, верёвка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила верёвку и — в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну,

слава богу, кажись, повесилась. Отмучилась и Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками: «Так, ты рад бы был, если б я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу её утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома — своё представление бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело.

Вот на какие штуки женщины — это чортова семья — способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.

Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:

— Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.

Восемь лет жили, как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки, с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а все с заковыкой, и так эти книжки её завлекли, что ночи напролёт читает, а днём ходит, как овца круженная,

так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло: «Дочиталась!» — думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты. Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы, говорю ей, вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как безпризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве всё идет через пень-колоду.

Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с черте-

жами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Чорта с два! Она от моих книжек воротила нос, как чорт от ладана, ей художественную литературу подавай да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как эшара из горшка. И ругал, и добром просил — не помогло. А бить её — в жизни не бил, потому что я, до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал, и рука у меня стала невыносимо тяжелая.

Вот так, братец ты мой, семейная жизньёнка и шла у нас раскорякой до той поры, пока меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету — никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и всё, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Ещё когда под Харьковом были, получил от неё раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!» Прочитаю, — и уши у меня огнём горят. Откуда она это куриное слово выковыряла — ума не приложу, не иначе — из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски — «дорогой Ваня» или там ещё как, а то — «цыпа». Когда дома был — всё больше рыжим чортом

звала, а как уехал на фронт — сразу «цыпой» сделался. И во всех письмах скороговоркой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да такими непонятными, книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделался и какое-то кружение в глазах.

Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из второго взвода подходит, спрашивает: что, мол, жена пишет новенького? А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю: отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня. Он спрашивает: «Всё ли благополучно дома? По лицу, — говорит, — вижу, что у тебя несчастье». А что я ему скажу? Придумал и говорю: бабушка, мол, у меня померла, ну, он и успокоился, отошел.

Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, всё чин-чином, а потом пишу: не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками, есть у меня свое крещеное имя, может, лет тридцать пять назад и был я «цыпой», а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой — восемьдесят два килограмма — вовсе для «цыпы» неподходящий. А ещё прошу — брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье, пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из

друзей остался дома, и как работает новый директор.

И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал — и так меня жаром и охватило!

Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!», а дальше опять на четырёх тетрадных страницах про любовь; про МТС — ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки! Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда, и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела, а тут наставила их столько, что не перечесть, у любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвище? Сначала — «цыпа», потом — «котик», чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или ещё каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор «ЧТЗ», — с собой ношу на случай, если когда захочется почитать, — так вот хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей... Что ты мне посоветуешь, Микола?

Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крикнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под чёрными, опущенными книзу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки — тени не успевшей сбежать с губ улыбки.

* * *

Николай вскоре проснулся. Лёгкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлянка и, заглушая её, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке слышались голоса, смех, потом кто-то прокричал молодым, звучным тенорком:

— Я говорил тебе, что свеча барахлит. Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький! Неси, рыбий глаз!

В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая бронебойщик Петр Лопухин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко.

— Опять каши наварил, гнедой мерин?

— Опять. А ты не ругайся.

— Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?

— А мне наплевать, где она у тебя сидит.

— Ты не повар, а так, чорт знает что. Никакой выдумки не имеешь, ни одной хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой

котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Шей бы хороших сварила, второе сготовил...

— Отчаливай, отчаливай, слышали мы таких!

— Три недели, кроме пшённой каши, ничего от тебя не получаем, так делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар!

— А тебе что, антрекота захотелось? Или, может, свиную отбивную?

— Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий, разъелся, как интендант второго ранга!

— Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипятик под рукой... В медсанбат-то ходил?

— Ходил.

— Ну, и что?

— А ничего.

— Чего же ты ходил?

Лопухин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа.

— Так просто ходил, знакомых искал, — равнодушно сказал Лопухин.

— А там одна была славненькая... Не клюнуло?

— Я и не старался, чтобы клюнуло.

— Ну, ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль? Да

и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим орден — тогда другое дело, а то, подумаешь, не видаль — медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами попадают.

— Дурак, — беззлобно сказал Лопехин. — Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошёлся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отошал, что даже жену перестал во сне видеть.

— А что же тебе снится, герой?

— Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши.

«Охота им языками трепать», — подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки.

Лопехин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.

— Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?

— Пойди с поваром поговори, у меня голова болит, — хмуро сказал Николай.

Лопехин сощурил светлые, разбойничьи глаза и понимающе покачал головой.

— Все ясно: подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль? Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.

С Лопехиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были

рядом. Лопехин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронейщики, подпустив их на полтораста-сто метров, но когда второй номер расчёта был убит, Лопехин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя с хода огонь, перевалил через окоп бронейщиков и на полной скорости устремился к огненным позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопехина желтая, глинистая земля, и подумал, что бронейщики погибли, но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли высунулся длинный ствол ружья, повёрнутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел, и по тёмной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой чёрный дым. И почти тотчас же Лопехин окликнул Николая:

— Эй, ты, брюнет с усами! Живой? — Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопехина.

— Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу?! Не видишь, вон они лезут! — заорал Лопехин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.

Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшей на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь

своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик.

После боя вечером в землянку вошел Лспахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил:

— А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?

Николай повернулся лицом к свету, и Лспахин, увидев его, деловито сказал:

— Нашел я тебя все-таки! Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.

Они присели около землянки, закурили.

— А ловко ты последний танк подбил, — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. — Я думал, что вас обсих завалило землей, смотрю — высывается ружье...

И тогда Лспахин насмешливо прервал его:

— Вот-вот, этого я и ждал... Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мёртвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищения!

Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лспахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:

Жёлтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастёрку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопухин прилёг рядом.

— Мрачноват ты нынче, Николай...

— А чему же радоваться? Не вижу оснований.

— Какие ещё тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денёк-то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки вон плавают... Красота да и только! Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу, так это уже всё? Конец света? Войне конец?

Николай досадливо поморщился, сказал:

— Причём тут — конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чём можно догадываться. Идём мы пятый день, скоро уже Дон, а потом — Сталинград... Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и всё топаем и когда упрёмся — неизвестно. Ведь кто же тоска, вот так идти и не знать ничего!

А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно! — Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:

— Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь — живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают... Иди ты к чорту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешёвого бодрячка из плохой пьески, ты даже ухитрился вон в медсанбат ходить...

Лопехин с хрустом потянулся, сказал:

— Жалко, что ты со мной не пошёл. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на неё и хоть сразу — в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей богу!

— Слушай, иди ты к чорту!

— Нет, серьёзно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномёт, даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров.

Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопехин сдержанно и зло заговорил:

— А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас? Значит поделом бьют.

Воюйте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле, учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете — не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирий величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз из города почти без боя мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придётся, или дядя за нас возьмёт? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошёл до такого градуса злости, что плюнь на меня — шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облился «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберёмся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьём, то при наступлении вдесятеро больше бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем,

а им отступать не придется, не на чем будет! Как только повернутся задом на восток — ноги сучьим детям повывергаем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, всё равно слёз твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жёсткие, неровен час, ещё поцарапаю тебя...

— Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, и ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем? — сказал Николай.

— В Си-би-ри? — протяжно переспросил Лопухин, часто моргая светлыми глазами. — Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться! Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географин. Вчера мне Сашка — мой второй номер говорит: «Дойдём до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, ещё раз мне про Урал скажешь — бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч!» Он — назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют да ещё из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили.

Лопухин ползком передвинулся поближе к воде

и долго тёр влажным зернистым песком огрубевшие подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю.

— Вспомнились мне, Коля, слова покойного политука Рузаева; эти слова будто бы один известный генерал сказал: «Если бы каждый красноармеец убил одного немца—война давно бы кончилась». Значит, мало мы их, гадов, бьём, так что ли?

Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил:

— Арифметика довольно примитивная... Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению — война закончилась бы, пожалуй, ещё скорее.

Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся.

— Как же генералы без нас могут сражения выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он ещё до Дона не дошёл, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему то же самое, что жених без мужского отростка, а мы без генерала, — что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том как бы его самого ещё лишний раз не побили.

Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так: чуть где неустойка на фронте вышла — шопотом генералов ругают: и такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и всё лихо через них идёт. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне. Ну, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, по глупости я сам завидовал генеральскому званию. «Эх, думаю, до чего же чистая жизнь! Ходит нарядный, фазан — фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать...» А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался.

Был я тогда ещё стрелком, а не бронебойщиком, и вот как-то поднимают роту в атаку. Что-то замешкался я, по совести говоря — огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться, — а командир взвода подбегает, наганом грозит и орёт: «Вставай!..» и матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю: «Ну, хорошо, я — рядовой и получил за свою неисправность один матюжок; я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей, в случае неисправности с его стороны сколько же он получает матюжков? А командующий армией?» Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики.

Нет, думаю, извиняюсь! Предпочитаю быть рядовым.

Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролёт просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, всё об одном думает; под глазами у него мешки от тяжёлых размышлений; голова раскалывается от разных предположений; всё ему надо предусмотреть, всё предугадать... И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему! Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопихина, как на родного отца, а Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чём свет стоит! Ругают потому, что искренно думают, будто один генерал во всём виноват, а они во все тут ни при чём. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки — тысячи матюков! — как бабочки вокруг лампы порхают. А тут ещё звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы поднимают на голове генерала красивую его фуражку, берёт он трубку, а сам думает: «Несчастливая моя мамаша!

И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают, в Москве вежливые люди живут, но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували-одевали, поили-кормили, а вы такие номера откальваете? Грудному ребёнку простиительно пелёнки пачкать, на то он и есть грудной ребёнок, а вы — не ребёнок, и испачкали не пелёнки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить». Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит в три ручья...

Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть! При всем моем честолюбии не желаю, и basta! И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование энской дивизией», — то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москва-реку — вот так!

Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зелёную, плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал:

— Скорее окунайся, а то утоплю!

Николай сразбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжогший всё тело колючий холо-

док, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину.

— Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! — улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно-глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми, блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами.

Купанье освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.

— До чего же здорово! Будто заново на свет народился! — сказал он Лопахину.

— После такого купанья по стопке бы выпить да хороших домашних щей наварнуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею! — раздражённо сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. — Пойдём разве попросим щей у какой-нибудь старушки?

— Неудобно.

— Думаешь, не даст?

— Может, и даст, но как-то неудобно.

— Э, чорт, а если б кухни не было? Какое там неудобство, пойдём! В своей родной области да чтобы щей не выпросить?

— Мы ведь не странники и не нищие, — не-
решительно сказал Николай.

Двое знакомых красноармейцев вышли из-за
плотины. Один из них — высокий и худой,
с младенчески бесцветными глазами и крохотным
ртом — нёс в руке мокрый узелок, другой шёл
следом, на ходу застёгивая ворот гимнастёрки.
Синее, как у утопленника, лицо его зябко подёр-
гивалось, почерневшие губы дрожали. Красноар-
мейцы поровнялись с Лопахиным, и тот, хищно
вытянув шею, спросил:

— Что у вас в узле, орлы?

— Раки, — ответил неохотно высокий.

— Ого! Где вы их достали?

— Возле плотины. Родники там, что ли? До
того холодная вода, прямо страсть!

— Как же это мы с тобой не додумались! —
с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Нико-
лая, и деловито спросил у высокого: — Сколько
наловили?

— Около сотни, но они некрупные.

— Все равно для двоих этого много, — реши-
тельно сказал Лопахин. — Принимайте в компа-
нию и нас. Берусь достать ведро и соли, варить
будем вместе, идёт?

— Сами наловите.

— Да что ты, милый! Когда же мы теперь
успеем? Угощай, не ломайся, а как только Берлин
займём — пивом угощу, честное бронебойное
слово!

Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул:

— Вот это утешил!

Лопяхину, видно, очень хотелось попробовать варёных раков. Подумав немного, он сказал:

— Впрочем, могу и сейчас, по рюмке водки на нос у меня найдётся, сохранял её на случай ранения, но сейчас по поводу раков придётся выпить.

— Пошли! — коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.

* * *

Лопяхин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошёл во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшая на одной петле ставня, погнившие ступеньки крыльца — всё говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверно, на фронте, значит, дело будет», — решил Лопяхин.

Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха, в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную, коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопяхин подошёл, почтительно поздоровался, спросил:

— А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить.

Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала:

— Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли!

Лопехин ошалело поморгал глазами, спросил:

— За что же такая немилость к нам?

— А ты не знаешь за что? — сурово спросила старуха. — Бесстыжие твои глаза! Куда идёте? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идёт, нагладелись на вас вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню! По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки режут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступай отсюда!

Багровый от стыда, смущения и злости, Лопехин выслушал гневные слова старухи, рас терянно сказал:

— Ну, и люта же ты, мамаша!

— А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты искирился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков?

— Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.

Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизьяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие чёрные глаза её вспыхнули молодо и зло.

— Меня, соколик ты мой, всё касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не затем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы всё на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?

Лопахин закричал и сморщился, как от зубной боли.

— Это всё мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь...

— А как умею, так и рассуждаю... Годами ты не вышел меня учить.

— Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.

— Это у меня-то нет? Пойди, спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвёртого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны — я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать — так воюйте, окайные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людьми свою старуху-мать!»

Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал:

— Ну, что ж... извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро. — Он попрощался и пошёл по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Чорт меня дёрнул сюда зайти! Поговорил, как мёду напился...».

— Эй, служивый, погоди-ка!

Лопухин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.

— Посуду тогда принеси, — всё так же строго сказала она.

Всегда находчивый и развязный Лопухин невнятно пробормотал:

— Что ж, мы люди не гордые.. Можно взять... Спасибо, мамаша! — И почему-то вдруг низко поклонился.

А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопухину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще...

Николай и двое красноармейцев ждали Лопухина возле двора. Они сидели в холодке под плетнём, курили. В свёрнутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал:

— Что-то долго не идёт наш бронебойщик,

видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить.

— Успеем, — сказал другой. — Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон.

А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрэйками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались и вот уже говорят об урожае, Звягинцев возится с трактором, Лопехин хлопочет, как бы сварить раков... Всё для них ясно, всё просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъёма на крутую гору, победа — там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них — на заднем плане, главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить

их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъём всё равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»

Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба, но вскоре размышления его прервал Лопехин. Потный и красный, он подошёл торопливыми шагами, отдуваясь, сказал:

— Ну и жарница! Прямо адово пекло. — И испытующе взглянул на Николая, пытаюсь по лицу определить — слышал он его разговор со старухой или нет?

— Насчёт щей не интересовался? — спросил Николай.

— Какие там щи, если раков будем варить! — раздраженно сказал Лопехин.

— Что же ты так долго там пробыв?

Лопехин воровато повёл глазами, ответил:

— Старушка такая весёлая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Всё её интересуется: кто мы, да откуда, да куда идём... Прямо прелесть, а не старушка! Сыны у неё тоже в армии, ну, она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала...

— И ты отказался? — испуганно спросил Николай.

Лопехин смерил его уничтожающим взглядом.

— Что я — странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?

— Напрасно отказался, — грустно сказал Николай. — За сметану можно бы было заплатить ей.

Глядя в сторону, Лопехин сказал:

— Я не знал, что ты — такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да это дело поправимое: обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия, ты отнесёшь и кстати сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмёт. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь её. Она мне так и сказала: «До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова всё им отдать!» Ну, пошли, а то раки наши подохнут к чорту!



Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопехин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопехин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил:

— Ну, просто совсем как на Садовой в гостинице «Интурист»: укропчиком пахнет, свежими раками... Полдюжины пива бы сюда, ледяного, трёхгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи! От этих ароматов я в огонь могу свалиться!

По переулку, с интервалами, шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зелёной краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислонясь к бортам, на ней сидели легко раненные; оттеняя их смуглые, загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты.

— Хоть бы брезентом накрыли машину, — с досадой сказал Николай. — Испекутся ведь на такой жаре!

Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул.

— За каким лешим понесло их днём? Степь голая, налетят самолёты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету!

— А может, они по необходимости тронулись, — возразил другой. — Вон что-то и сапёры перестали молотками стучать, одни мы прохлаждаемся.

Николай прислушался: в хуторе стояла нехорошая тишина, слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донёсся знакомый, стонущий гул артиллерийской стрельбы.

— Улыбнулись нам раки! — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато, по-шахтёрски выругался.

Раков, действительно, не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге.

Капитан Сумсков бегом оглядел построившихся красноармейцев и, подёргивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал:

— Товарищи! Получен приказ — занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка, надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего.

Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживлённо блестя глазами, сказал:

— В бой итти со знаменем — это подходяще, а уж отступать с ним — просто не дай бог! За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал: «Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вёз, а то идём к противнику спиной и со знаменем». Даже как-то конфузно перед людьми было и за себя и за это знамя... — Он помолчал немного и спросил: — Как предполагаешь, — устоим?

Николай пожал плечами, уклончиво ответил:

— Надо бы устоять. — А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулемётов и противотанковых ружей да кухню, а теперь вот идём становиться заслоном... Ни артиллерии, ни миномётов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От стар-

петь по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону, прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону, по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести всё это в порядок... И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»

На минуту Николай тревожно подумал: «А что если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»

Но настолько сильна была горечь перенесённого поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на всё рукой, он с весёлой злостью подумал: «Э, да чорт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться — на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство — коммунисты и капитан хорош, — продержимся!»

Около ветряной мельницы босой, белоголовый мальчик, лет семи, пас гусей. Он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищённо рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у стар-

шего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы... Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной, Николенька Стрельцов? Захотелось ещё раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери и не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чём-либо постороннем, так будет лучше...

Некоторое время взволнованный Николай шёл, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов, но потом всё же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, всё ещё стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий, горячий клубок...



Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как кремь. Лопата с трудом вонзалась в неё на несколько сантиметров, откалывая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито-блестящий след.

Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой не снижаясь, дал две короткие пулемётные очереди и ушёл на восток.

«Теперь вскорости жди гостей» — заговорили красноармейцы.

Николай вырыл окоп глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастёрка на спине его стала влажной и тёмной, по лицу бисером катился пот.

— Это не земля, а увечье для народа! — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. — Её порохом рвать надо, а не лопатой ковырять. Спасибо хоть немец не нажимает, а то, под огнём лёжа, в такую землю не сразу зароешься.

Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку.

В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжело колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и, с остервенением сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа.

— ггу как, доходная работенка? — спросил Звягинцев.

— Вполне.

— Вот, Микола, война так война! Сколько этой землицы лопатой перепашешь — прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл её не меньше, чем колёсный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь!

— А ну, кончай разговоры! — строго крикнул лейтенант Голощёков, и Звягинцев с не присущей ему ловкостью нырнул в окоп.

Часам к трём пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охалку сизой мелкокорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, в выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам.

Западный склѳн высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склѳну зеленели кусты дикого тѳрна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут.

Жара ещё не спала. Солнце попрежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало прива-

лившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля, такого же белесого, как ковыль, степного луны. В просветах между стельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей.

Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло ещё с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далёкий гул моторов. Он рос, ширился и звучал всё отчётливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землёю гром. По просёлку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по просёлку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый, бронированный бензозаправщик.

И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего на-

пряжения минуты, когда учащённо и глухо бьются сердца, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьёзностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом... А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьёзная. Состоится оно, это свидание, или нет, а всё равно сердце бьётся, как у влюблённого, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она... Каждый человек — живой, чего же ты хочешь?»

Николай знал, что как только начнётся бой, на смену этому чувству придут другие: короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму... Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зелёную полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, всё ещё глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а всё его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело стало делать десятки мелких, ненужных движений: зачем-то руки ощущали лежавшие в нише диски, как будто эти

тяжёлые и тёплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть, потом он поправил складки гимнастёрки и всё так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, — носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами... Это были произвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощённый наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий окрик Звягинцева.

В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.

«До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде... Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай с тяжёлой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшённые расстоянием фигурки врагов.

Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулемётными очередями подозрительные места. Николай видел, как, словно от ветра, колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника, и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.

Танки повели с хода и пушечный огонь. Сна-

ряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом чёрные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться.

Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай слышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие выплывочные выстрелы.

Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, всё ещё продвигалась вперёд, потом залегла, прижатая к земле огнём.

Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-чёрный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелось ещё два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам.

Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружьё бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижи-

маясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурными холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле заметно указывала его движение.

Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжёлую дугу, полетела противотанковая граната.

С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг чёрным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.

Умолкшее на несколько минут до этого ружьё бронейщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся па бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемёт на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину; спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми, пенистыми клубами.

Придавленная пулемётным огнём пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец, она поднялась, корот-

кими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин.

Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звэгнишева:

— Микола! Умыли мы их, б...! Они с хода хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их, умыли! Пускай опять идут,— мы их опять умоем!

Николай зарядил порожние диски, попил немного противно-тёплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть:

Ещё раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри его ударил тяжёлый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жжённой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля металась м...кие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымились обугленные, тёмные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно-бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-

зелёными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зелёных холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему...

Из балки застучали пулемёты. Николай спрятал за бруствером голову, отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве, ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями, белое с лиловым подбоем облачко, положее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, попрежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков, лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие её перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд грубоватую плотность...

Николай ждал, что вторая атака немцев начнётся, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещиванию дорог и выйти на лежавший на высоте грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону.

И снова, отсечённая от танков огнём, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, всё ещё пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вёл огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили иссиня-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачиваясь в трубки, зловеще-тёмная краска.

Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.

— Опять их умыли... — зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. — Ты живой. Микола? Живой? Ну, и хорошо. Хватит ли у нас припасу умыть их до конца, вот в чем беда... Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб...

Он ещё что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его, — низ-

кий, прерывистый басовитый гул летевших где-то немецких самолётов приковал к себе все его внимание.

«Только этого и недоставало...» — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.

Двенадцать «Юнкерсов» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полёта, так и порешил, что самолёты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четвёрка самолётов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.

Николай опустил ся в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолёту. К ревящему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.

Николай не слышал потрясающего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушённый...

Очнулся Николай, когда самолёты, с двух заходов ссыпав свой груз, давно уже удалились и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.

Вокруг Николая гремел ожесточённый бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь — мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, всё ещё мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли... Из носа у него шла кровь, щеко-чущая и тёплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провёл рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял всё — немцы были близко.

Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратитель-

ную, обезволивавшую всё его тело слабость. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!

Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «КВ», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.

Они катились наискось по склону, как серозеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой, и больше уже не поднимались...

Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощёков и ещё несколько бойцов с бледными от злости и торжествующей радости лицами, — он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса; он тоже хотел, как бывало

— Орёлики! Родные мои, вперёд!.. Дайте и жизни!

Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь — спасительное и долгое беспамятство.

всегда, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески и бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог... Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно — сбылось! — высоту отстояли, и во-время подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..

Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперёд красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шёл сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой — прижимая к боку выставленный вперёд автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядам окопа капитан Сумсков... Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастёрки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперёд и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся гласком: